Василий Верещагин

Из путешествия по Средней Азии

Василий Васильевич Верещагин

Из путешествия по Средней Азии

Аннотация

«…Для начала несколько слов о невольничьих караван-сараях и торговле рабами. Правда, что ни невольничьих караван-сараев, ни торговли рабами теперь уж не существует в Ташкенте, тем не менее сказать кое-что по этому поводу будет, думаю, неизлишне и небезынтересно. Здания для этой торговли в городах Средней Азии устраиваются так же, как и все караван-сараи; только разделяются они на большее число маленьких клетушек, с отдельною дверью в каждую; если двор большой, то посредине его навес для вьючного скота; тут же, большею частью, помещается и продажный люд, между которым малонадежные привязываются к деревянным столбам навеса. Народу всякого на таких дворах толкается обыкновенно много: кто покупает, кто просто глазеет…»

Содержание

I 4
II 24

Василий Верещагин
Из путешествия по Средней Азии

I

…Для начала несколько слов о невольничьих караван-сараях и торговле рабами. Правда, что ни невольничьих караван-сараев, ни торговли рабами теперь уж не существует в Ташкенте, тем не менее сказать кое-что по этому поводу будет, думаю, неизлишне и небезынтересно. Здания для этой торговли в городах Средней Азии устраиваются так же, как и все караван-сараи; только разделяются они на большее число маленьких клетушек, с отдельною дверью в каждую; если двор большой, то посредине его навес для вьючного скота; тут же, большею частью, помещается и продажный люд, между которым малонадежные привязываются к деревянным столбам навеса. Народу всякого на таких дворах толкается обыкновенно много: кто покупает, кто просто глазеет.

Покупающий расспросит *товар*: что он умеет делать, какие знает ремесла и т. п. Затем поведет в каморку и там при хозяине осмотрит, нет ли каких-нибудь телесных недостат-

ков или болезней. Женщины молодые большею частью на дворе не выставляются, а смотрятся в каморках и осматриваются не самим покупателем, а опытными пожилыми знахарками.

Цены на людей, разумеется, различны, смотря по времени и большему или меньшему приливу «товара». Под осень обыкновенно торг этот идет шибче, и в городе Бухаре, например, под это время в каждом из десятка имеющихся там невольничьих караван-сараев бывает, как мне говорили, от 100 до 150 человек, выставленных на продажу. Так как больше всего доставляют рабов Средней Азии несчастные, смежные с туркменскими племенами персидские границы, то удачи или неудачи охотничьих подвигов туркменцев в этих местах главным образом устанавливают цену на рабов в Хиве, Бухаре и в Коканде; но иногда войны и неизбежные при этом обращения в рабство всех пленных, если они не мусульмане сунитского толка (в противном случае захват и перепродажа всех рабов побежденной стороны), значительно и разом на всех этих рынках изменяют цены: в таких случаях человек идет за очень дешевую цену – за несколько десятков рублей, иногда даже за 10 рублей.

Вообще, мужчин в продаже гораздо больше, чем женщин, между прочим потому, что туркмены, продавая охотно мужчин, больше удерживают у себя женщин. Красивая молодая женщина стоит очень дорого, рублей до 1000 и более.

В хорошей цене также стоят хорошенькие мальчики: на

них огромный спрос во всю Среднюю Азию. Мне случалось слышать рассказы бывших рабов-персиян о том, как маленькие еще они были захвачены туркменами: одни в поле, на работе, вместе с отцом и братьями, другие просто на улице деревни, среди белого дня, при бессильном вое и крике трусливого населения. Истории следующих затем странствований, перехода этих несчастных из рук разбойника-туркменца в руки торговца рабами и отсюда в дом купивших их крайне печальны и нельзя не порадоваться, что благодаря вмешательству русских этот грязный омут стал видимо прочищаться.

Влияние русское на торговлю рабами сказалось в трех наиболее выдающихся фактах: во-первых, вообще уменьшилось число рабов, потому что во всей присоединенной к России стране они сделались свободными; во-вторых, вообще уменьшился спрос на новых рабов, потому что во все эти новоприобретенные страны нет более сбыта их, а в такие города, как Ташкент, Ходжент, Самарканд и другие, сбыт их был не мал; в-третьих, торговля эта значительно упала, уменьшилась в размере и во всех соседних варварских государствах Средней Азии по тому простому и не лишенному смысла предположению, что русские не сегодня-завтра могут пожаловать в каждый из них, и так как в каждом из них хорошо знают, что рабов русские немилосердно освобождают, то и все покупки и сделки этого рода принимают теперь малонадежный, неблагодарный вид.

Но не одни только, так сказать, официальные рабы вздохнули теперь свободнее: всякого рода бедность и загнанность начинают смело смотреть в глаза капиталу, знати, могуществу, чувствующим оттого немалое смущение.

А другой сорт рабов, который не поименован так обидно ни в одном учебнике, но который тем не менее представляет самый ужасный вид невольничества – матери, жены, дочери среднеазиатских дикарей, разве не испытывают медленного, но неотразимого влияния на их положение и судьбу кяфирских («кяфир» – неверный) законов и всех кяфирских порядков? Без сомнения, *да*; и чтоб не ходить далеко, достаточно послушать осторожные, но горькие жалобы, которые изливает в беседе со мною хозяин моего дома, старик аксакал. «Последние дни приходят!» – говорит он и машет отчаянно рукою. «Что так?» – «Да как же! Чего же еще ожидать, и жену свою муж не поучи: станешь бить – стращает, что к русским уйдет»… В самом деле, как не смутиться азиатцу, когда его собственность, его вещь, правильно приобретенная, законно закабаленная, начинает заявлять о каких-то своих правах и прежде всего о праве не быть по произволу битою! Как не огорчиться таким расколом и как не угадать виновников всей этой ереси!..

Торговец рабами

О незаслуженно униженном положении восточной женщины было уже говорено немало многим множеством путешественников, и здесь повторять общих мест не буду; скажу только, что судьба женщины в Средней Азии, говоря вообще, еще печальнее судьбы ее сестры в более западных странах, каковы Персия, Турция и другие. Еще ниже, чем у последних, ее гражданское положение, еще сильнее замкнутость и отверженность от ее властителя-мужчины, еще теснее ограничение деятельности одною физическою, животною стороною, если можно так выразиться. С колыбели запроданная мужчине, неразвитым, неразумным ребенком взятая им, она, даже в половом отношении, не живет полною жизнью, потому что к эпохе сознательного зрелого возраста уже успевает состариться, задавленная нравственно ролью самки и физически работою вьючной скотины. Все умственное движение, все развитие может сказываться поэтому только в самых низших проявлениях человеческого ума – в интриге, сплетне и т. п., зато и удивляться нечего, что они интригуют, сплетничают…

Такое крайне униженное положение женщин составляет главную причину, между прочим, одного ненормального явления, каким представляется здешний «батча». В буквальном переводе «батча» значит мальчик; но так как эти мальчики исполняют еще какую-то странную и, как я уже сказал,

не совсем нормальную роль, то и слово «батча» имеет еще другой смысл, неудобный для объяснения.

В батчи-плясуны поступают обыкновенно хорошенькие мальчики, начиная лет с восьми, а иногда и более. Из рук неразборчивых на способ добывания денег родителей ребенок попадает на руки к одному, к двум, иногда и многим поклонникам красоты, отчасти немножко и аферистам, которые с помощью старых, окончивших свою карьеру плясунов и певцов выучивают этим искусствам своего питомца и раз выученного нянчат, одевают, как куколку, нежат, холят и отдают за деньги на вечера желающим, для публичных представлений.

Такие публичные представления – «тамаша» мне случалось видеть много раз; но особенно осталось в памяти первое мною виденное, бывшее у одного богатого купца С. А.

«Тамаша» даются почти каждый день в том или в другом доме города, а иногда и во многих разом, перед постом главного праздника байрама, когда бывает наиболее всего свадеб, сопровождающихся обыкновенно подобными представлениями. Тогда во всех концах города слышны стук бубен и барабанов, крики и мерные удары в ладоши, под такт пения и пляски батчи. Имев еще в городе мало знакомых, я просил С. А. нарочно устроить «тамашу» и раз, поздним вечером, по уведомлению его, что представление приготовлено и скоро начнется, мы, компаниею в несколько человек, отправились к нему в дом.

В воротах и перед воротами дома мы нашли много народа; двор был набит битком; только посередине оставался большой круг, составленный сидящими на земле, чающими представления зрителями; все остальное пространство двора – сплошная масса голов; народ во всех дверях, по галереям, на крышах (на крышах больше женщины). С одной стороны круга, на возвышении, музыканты – несколько больших бубен и маленькие барабаны; около этих музыкантов, на почетное место, усадили нас, к несчастью для наших ушей. Двор был освещен громадным нефтяным факелом, светившим сильным красным пламенем, которое придавало, вместе с темно-лазуревым звездным небом, удивительный эффект сцене.

«Пойдемте-ка сюда», – шепнул мне один знакомый сарт, подмигнув глазком, как это делается при предложении какого-нибудь запретного плода. «Что такое, зачем?» – «Посмотрим, как батчу одевают». В одной из комнат, двери которой, выходящие на двор, были, скромности ради, закрыты, несколько избранных, большею частью из почетных туземцев, почтительно окружали *батчу*, прехорошенького мальчика, одевавшегося для представления; его преображали в девочку: подвязали длинные волосы в несколько мелкозаплетенных кос, голову покрыли большим светлым шелковым платком и потом, выше лба, перевязали еще другим, узко сложенным, ярко-красным. Перед батчой держали зеркало, в которое он все время кокетливо смотрелся. Толстый-пре-

толстый сарт держал свечку, другие благоговейно, едва дыша (я не преувеличиваю), смотрели на операцию и за честь считали помочь ей, когда нужно что-нибудь подправить, подержать. В заключение туалета мальчику подчернили брови и ресницы, налепили на лицо несколько смушек – signes de beauté[1] – и он, действительно преобразившийся в девочку, вышел к зрителям, приветствовавшим его громким, дружным одобрительным криком.

Батча тихо, плавно начал ходить по кругу; он мерно, в такт тихо вторивших бубен и ударов в ладоши зрителей выступал, грациозно изгибаясь телом, играя руками и поводя головою. Глаза его, большие, красивые, черные, и хорошенький рот имели какое-то вызывающее выражение, временами слишком нескромное. Счастливцы из зрителей, к которым обращался батча с такими многозначительными взглядами и улыбками, таяли от удовольствия и в отплату за лестное внимание принимали возможно униженные позы, придавали своему лицу подобострастные, умильные выражения. «Радость моя, сердце мое», – раздавалось со всех сторон. «Возьми жизнь мою, – кричали ему, – она ничто перед одною твоею улыбкою» и т. п. Вот музыка заиграла чаще и громче; следуя ей, танец сделался оживленнее; ноги – батча танцует босиком – стали выделывать ловкие, быстрые движения; руки змеями завертелись около заходившего корпуса; бубны застучали еще чаще, еще громче; еще быстрее завертелся

[1] знак красоты (*фр.*).

батча, так что сотни глаз едва успевали следить за его движениями; наконец, при отчаянном треске музыки и неистовом возгласе зрителей воспоследовала заключительная фигура, после которой танцор или танцовщица, как угодно, освежившись немного поданным ему чаем, снова тихо заходил по сцене, плавно размахивая руками, раздавая улыбки и бросая направо и налево свои нежные, томные, лукавые взгляды.

Чрезвычайно интересны музыканты; с учащением такта танца они еще более, чем зрители, приходят в восторженное состояние, а в самых сильных местах даже вскакивают с корточек на колени и донельзя яростно надрывают свои и без того громкие инструменты. Батчу-девочку сменяет батча-мальчик, общий характер танцев которого мало разнится от первых. Пляска переменяется пением оригинальным, но и монотонным, однообразным, большею частью грустным! Тоска и грусть по милом, неудовлетворенная, подавленная, но восторженная любовь и очень редко любовь счастливая служат обыкновенными темами этих песен, слушая которые туземец пригорюнится, а подчас и всплакнет.

Интереснейшая, хотя неофициальная и не всем доступная часть представления начинается тогда, когда официальная, т. е. пляска и пение, окончилась. Тут начинается угощение батчи, продолжающееся довольно долго – угощение очень странное для мало знакомого с туземными нравами и обычаями. Вхожу я в комнату во время одной из таких закулисных сцен и застаю такую картину: у стены важно и гордо восседа-

ет маленький батча; высоко вздернувши свой носик и прищуря глаза, он смотрит кругом надменно, с сознанием своего достоинства; от него вдоль стен, по всей комнате, сидят, один возле другого, поджавши ноги, на коленях, сарты разных видов, размеров и возрастов – молодые и старые, маленькие и высокие, тонкие и толстые – все, уткнувшись локтями в колени и возможно согнувшись, умильно смотрят на батчу; они следят за каждым его движением, ловят его взгляды, прислушиваются к каждому его слову. Счастливец, которого мальчишка удостоит своим взглядом и еще более словом, отвечает самым почтительным, подобострастным образом, скорчив предварительно из лица своего и всей фигуры вид полнейшего ничтожества и сделавши *бату* (род приветствия, состоящего в дергании себя за бороду), прибавляя постоянно, для большего уважения, слово «таксир» (государь). Кому выпадет честь подать что-либо батче, чашку ли чая или что-либо другое, тот сделает это не иначе как ползком, на коленях и непременно сделавши предварительно бату. Мальчик принимает все это как нечто должное, ему подобающее, и никакой благодарности выражать за это не считает себя обязанным.

Я сказал выше, что батча часто содержится несколькими лицами: десятью, пятнадцатью, двадцатью; все они наперерыв друг перед другом стараются угодить мальчику; на подарки ему тратят последние деньги, забывая часто свои семьи, своих жен, детей, нуждающихся в необходимом, живу-

щих впроголодь.

* * *

Календархан – приют для нищих; места, в которых эти приюты выстроены, всегда полны тени и прохлады и принадлежат к лучшим уголкам города.

Посредине двора возвышение, место для молитвы – непременная принадлежность всякого общественного места. Далее, другое возвышение, более просторное, посредине которого стоит низкое, бедное, грязное, убогое зданьице нищих, тут же и заседающих, обыкновенно вдоль стен и по платформе. Одни из них разговаривают, другие курят, пьют чай, а иной, напившись кукнару, спит врастяжку.

Нищенство здесь сильно развито и хорошо организовано. Нищая компания составляет род братства с одним главою; глава этот потомок того святого, который дал организацию нищенствующему люду и закрепил за ним полученную от общества землю, даровую для всех желающих пристроиться на ней, сделаться диваном. Дом этого главы, очень порядочный, непохожий на грязный домишко его подчиненных, стоит тут же близ дороги, близ спуска с городской улицы на площадку календархана. Я несколько раз хотел повидаться с этим *тюрою* нищих (тюра – господин), порасспросить его хорошенько об истории и времени основания его *нищенствующего ордена*, но его постоянно не было дома: один раз говорили, что

тюра в Чемкенте, другой раз в Ходженте или в каком-нибудь другом городе: дело в том, что, будучи главою нищего братства, он живет то в том, то в другом из них по нескольку месяцев в году: собирает с своих подчиненных доходы, судит и рядит их, если нужно. Доходов собирает он, надобно думать, немало, потому что каждый диван обязан ежедневно внести ему все полученное им в продолжение дня, исключая того, что нужно себе на пищу и необходимую одежду.

В официальные нищие, диваны, может поступить всякий желающий, всякий предпочитающий бродяжничество работе; холостые большею частью живут вместе в календарханах, женатые – отдельными домами; мне указывали семейства, в которых дед, отец и внук – диваны.

Поступающий в общество календа́рей получает некоторого рода форму: ему выдается особого вида шапка красного цвета, расшитая шерстью, снизу опушенная бараньим мехом, широкий пояс, чашка из тыквы, в которую собираются куски говядины и жирного риса, бесцеремонно опускаются и медные чехи (чехи – ⅓ копейки); остальная одежда дивана хотя принадлежит ему самому, но делается по известному, принятому образцу: халат должен непременно иметь вид одежды, покрытой заплатами, и есть мастера творить удивительно пестрые, бросающиеся в глаза от разнообразия заплаток одеяния.

У дивана есть всегда старое будничное платье, в котором он ежедневно ходит: это сплошная масса лохмотьев, в кото-

рых, что называется, *живого места нет*; другое праздничное, надеваемое в торжественные дни, все составленное из расположенных в живописном беспорядке, одна возле другой, пестрых, разноцветных, новеньких, недавно выпрошенных на базаре лоскуточков: когда виден и кусочек шелковой материи или сукна, а больше ситца, которых образчики русского и туземного производства не на шутку конкурируют на плечах дивана прочностью и цветом.

– Зачем это у тебя палочка? – спрашивал я одного; у него был в руках тоненький зеленый прут, шкурка которого была узором вырезана.

– А когда я у кого-нибудь прошу милостыню, – отвечал он, – да он меня не слушает, так я этой палочкой тихонько и трону…

Каждый день утром нищая компания расходится на промысел, и вечером опять все собираются, сводят счеты, приходы, рассказывают виденное, слышанное, городские новости и сплетни. По улицам и базарам постоянно встречаются диваны, то в одиночку, то целою группой; первые вытягивают соло своего лазаря, вторые ревут хором; человек десять, пятнадцать, а иногда и более, все в высоких мохнатых шапках, с желтыми обрюзглыми физиономиями, апатично вытягивают знакомые слова, подхватывают их за впереди стоящим запевалой, разбитным вожаком всей компании; запевало этот выпевает такие штуки и так уморительно, что непривычному нельзя не рассмеяться: заткнувши уши пальцами,

нагнувшись корпусом вперед, он весь надувается и как бы грозит лопнуть, если не дадут подаяния.

Вечером диван возвращается в свою грязную хату; форма, т. е. шапка и проч., снята; чашка, за вынутием из нее собранного, отправляется в угол или на гвоздик, и святой муж садится к огоньку, рассказывает, сплетничает, слушает других, причем курит крепкий *наша*, попивает чаек или кукнар; от кукнара, сильно опьяняющего, спит он крепко до утра, до новых бродяжнических подвигов.

Почти все диваны записные пьяницы, почти все опиумоеды. Кукнар и опиум принимают дозами, раза по три, по четыре в день – первый большими чашками, второй кусками; многие, впрочем, готовы глотать тот и другой, сколько войдет, во всякую данную минуту.

Я скормил раз одному целую палку продажного на базаре опиума и не забуду, с какою жадностью он глотал, не забуду и всей фигуры, всего вида опиумоеда: высокий, донельзя бледный, желтый, он походил скорее на скелет, чем на живого человека; почти не слышал, что кругом его делалось и говорилось, день и ночь мечтал только об опиуме.

Сначала он не обращал внимания на то, что я говорил ему, не отвечал и, вероятно, не слышал; но вот он увидел в моих руках опиум – вдруг лицо его прояснилось, до тех пор бессмысленное, получило выражение: глаза широко раскрылись, ноздри раздулись, он протянул руку и стал шептать: дай, дай… Я не дал сначала, спрятал опиум – тогда скелет

этот весь заходил, начал ломаться, кривляться, как ребенок, и все умолял меня: дай бенг, дай бенг!.. (бенг – опиум). Когда я, наконец, подал ему кусок, он схватил его в обе руки и, скорчившись у своей стенки, начал грызть его потихоньку, с наслаждением, зажмуривая глаза, как собака гложет вкусную кость. Скоро он начал как-то странно улыбаться, нашептывать бессвязные слова; временем же судорога передергивала и искривляла его лицо…

Он сгрыз уже половину, когда близ него сидевший опиумоед, давно уже с завистью смотревший на предпочтение, оказанное мною скелету, вдруг вырвал у него остальное и в одну секунду положил себе в рот. Что сделалось с бедным скелетом? Он бросился на своего товарища, повалил его и начал всячески теребить, бешено приговаривая: «Отдай, отдай, говорю!» Я думал, что он ему выворотит скулу…

Календарханы не только приюты нищих – это также нечто среднее между нашим кафе-рестораном и клубом: желающий покурить *наша* или, еще более, запретного опиума и стыдящийся или не имеющий возможности заводить эти вещи дома – идет в календархан; пьяница отводит свою душу кукнаром также в календархане; разных новостей, как это можно себе представить, между бродягами-диванами не переслушаешь; поэтому народа всякого, болтающего, курящего, пьющего и спящего всегда немало. Мне случалось встречать там лиц довольно почтенных, которые, впрочем, как бы стыдились того, что я, русский тюра, заставал их в компании

опиумоедов и кукнарчей.

Между опиумоедами есть личности поразительные; физиономия каждого из них уже прямо говорит: *я опиумоед*; но те, которые едят его много и с давних пор, особенно отличаются вялостью, неподвижностью всей фигуры, какою-то пугливостью всех движений, мутным, апатичным взглядом, желтым цветом лица и донельзя обрюзглым видом всей физиономии. Мне говорили (и я имел случай проверить это на деле), что опиумоед оказывается непременно трусом.

Летом жизнь этих людей далеко не горька: птицы божьи, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы – впрочем, вернее сказать, только не сеют и не собирают в житницы; жать же, хоть и с грехом пополам, но жнут и жнут изрядно; от плодов этой жатвы бравый диван исправно напитается, напьется и, если время свободное, валяется, пока душа просит, в тени деревьев.

Зимою беднякам приходится туже: как ни кутаются они в свои дырявые халатишки, но все-таки мерзнут и коченеют, потому что зимы здесь бывают, сравнительно с жарами лета, довольно холодны.

Пришедши раз, довольно холодным днем, в календархан, я застал картину, которая врезалась в моей памяти: целая компания нищих сидела, тесно сжавшись, вдоль стен; недавно, вероятно, приняла дозу опиума; на лицах тупое выражение; полуоткрытые рты некоторых шевелятся, как будто шепчут что-то; многие, уткнувши голову в колени, тяжело

дышат, изредка передергиваются судорогами…

Близ базара есть множество конур, в которых живут диваны, опиумоеды: это маленькие, темненькие, грязные, полные разного сору и насекомых каморки. В некоторых стряпается кукнар, и тогда каморка получает вид распивочной лавочки, постоянно имеющей посетителей; одни, выпившие в меру, благополучно уходят, другие, менее умеренные, сваливаются с ног и спят вповалку по темным углам.

Политики в опиумной лавочке. Ташкент

Кукнар – очень одуряющий напиток, приготовляемый из шелухи обыкновенного мака: шелуху эту разбивают на мелкие кусочки и кладут в горшок с водою, которую нагревают; когда шелуха поразмокнет, ее выжимают руками в воде, делающейся от этого красноватою, мутною и горькою; горечь кукнара так неприятна, что я не мог никогда проглотить его, хотя не раз был угощаем приветливыми диванами.

В подобных же конурах устраиваются лавочки и для курения опиума; каморка такая вся устлана и обита циновками – и пол, и стены, и потолок; курильщик ложится и тянет из кальяна дым от горящего шарика опиума, который маленькими щипчиками придерживается другим у отверстия кальяна. Одурение от курения опиума едва ли еще не сильнее, чем от приема его внутрь; действие его можно сравнить с действием табака, но только в гораздо сильнейшей степени; подобно табаку, он отнимает сон, сон натуральный, укрепляющий; зато, говорят, он дает сны наяву, сны беспокойные, скоропроходящие, галлюцинации, сменяющиеся слабостью и расстройством, но приятные.

Едва ли можно сомневаться, что в более или менее продолжительном времени опиум войдет в употребление и в Европе; за табаком, за теми приемами наркотиков, которые поглощаются теперь в табаке, опиум естественно и неизбежно стоит на очереди.

II

Чиназ очень небольшое селение, неизвестно почему называющееся городом. Он расположен на возвышенном берегу бывшего русла Чирчика, теперь почти пересохшего, болотистого и только местами покрытого камышом. Крепость чиназскую мы оставили влево и через маленький базарчик, тихий, немноголюдный, проехали в указанный нам единственный, кажется, постоялый двор некоего Мулля-Фазиль, местного торговца…

Прежде Чиназ был многолюднее, теперь часть жителей его, особенно торгующих, переселилась в новый Чиназ, основанный русскими, несколько верст впереди, при слиянии Чирчика с Сыр-Дарьею, где построена и новая крепость, а здешняя оставлена. Крепость эта была занята русскими без боя, потому что гарнизон рассудил заблаговременно уйти. Мне казалось, однако, что она в других руках могла бы постоять за себя: стены, еще довольно крепкие, стоят на высоком валу, окруженном очень глубоким рвом; края стены, по обыкновению зубчатые, кое-где с пробитыми бойницами. В средине только груды развалин, между которыми бродила, что-то отыскивая, целая ватага мальчишек, как брызги рассыпавшаяся в стороны при нашем приближении. Кирпич и весь годный строительный материал выломаны и употреблены на постройку крепости и домов нового Чиназа.

Сильный ураган, разразившийся в этот день, 14(26) марта, задержал нас в этом мало интересном местечке до следующего утра: около 3-х часов пополудни поднялся такой вихрь, что в продолжение некоторого времени страшные массы пыли скрывали от глаз предметы даже в нескольких шагах расстояния, затем пошел сильнейший дождь, ливший всю ночь.

Я познакомился здесь, между прочим, с способом выделки масла из семян хлопчатой бумаги, масла, которым Чиназ, кажется, изобилует: в маленькой темной клетушке стоит высокий сруб с углублением наверху, в которое вставлено наклонно бревно; к верху бревна с помощью рычага привешена значительная тяжесть, которую вместе с ними ворочает кругом ходящая лошадь; нагнетаемое тяжестью бревно давит семена, и масло льется в отверстие сруба. Вся эта машина страшно громоздка и в темной каморке, вместе с скелетом кружащейся лошади, с засаленным работником и производимым ею шумом, скрипом, делает впечатление чего-то крайне первобытного.

На другой день дорога оказалась размытою так, что лошади ступали с трудом, а в местах, где она проходила чрез камыши, топка и небезопасна; вода, накопившаяся от сильного дождя в этих камышах, сильными потоками лилась в Чирчик.

Местность около дороги, оживленная дождем, была ярко зелена от прекрасной травы. Киргизы пахали и боронили; пашут всё теми же незатейливыми сохами и перед бо-

роненьем разбивают заступом большие комья земли; борона – доска, двух аршин длины при полуаршине ширины, с несколькими железными тычинками, привязанная цепью к деревине, идущей к воловьему ярму; на доске, для пригнетения ее, стоит погонщик…

Новый Чиназ смотрит очень печально: крепостца маленькая, постройки малы, бедны и почти нет деревьев, что довольно странно видеть вблизи двух рек; правда, при некоторой возвышенности места относительно уровня воды, провод арыков, а с тем вместе и разведение садов должны быть несколько затруднительны, но породы ивовые могли бы быть легко и скоро разведены. Здешняя ива при всякой воде принимается еще быстрее, чем наша, так что ее прозвали даже бессовестною; но при таком климате, как здешний, нельзя гнушаться никаким, даже и бессовестным деревом.

Поселение Чиназа стоит на самом берегу Сыр-Дарьи; в нем довольно большой базар с торговцами, преимущественно из туземцев, так падкими на всякий барыш, как бы он мелок ни был, и потому всегда во множестве прилепляющимися к месту, заселенному русскими…

В Сыр-Дарье ловятся отлично осетры, сомы и другая рыба; но рыболовов мало.

Я нашел в Чиназе ташкентского знакомого Ф., жившего здесь ради какого-то весьма кляузного дела. Между прочим, он жаловался мне на трудность что-либо дознавать, что-либо разбирать между туземцами.

По этому поводу приведу один случай, рассказанный мне здешним комендантом Г** – случай вздорный, но довольно характерный. Приходит к нему раз киргиз и жалуется, что такой-то укусил ему палец; обжалованный и спрошенный по этому поводу положительно объявляет, что он пальца не кусал; как тут быть? «Покажи рану». Рана оказывается продольная, как от разреза ножа, и призванный доктор решает, что она сделана никак не зубами, а именно чем-нибудь вроде ножа. Дело объяснилось так: жаловавшийся служит вместе с своим мнимым обидчиком в Ташкенте, был раз уличен им в каком-то воровстве, за это наказан и с тех пор питал к нему такую злобу, что, по словам последнего, в состоянии был не только поранить палец, но и совсем отрезать один, два, три или сколько нужно, чтоб только взвести на него клевету и напакостить, отомстить…

Ранним утром мы переправились чрез неширокий Чирчик на небольшом железном баркасе; в крутом берегу речки я видел какие-то отверстия и после, от одного из сопровождавших меня казаков, узнал, что это их зимовки; бедные воины не имеют, вероятно, покамест лучшего жилья. «Да ведь, поди-ка, там худо жить вам?» – спрашиваю я его. «Совсем худо». – «А теперь и летом, где же вы живете? В палатках?» – «Нет, так, на вольном воздухе». – «Как так? А ветер, дождик ведь мочит?» – «Дождик помочит, а солнышко высушит»…

Мы ехали довольно низким местом; кое-где виднелись пашни, травы почти нет, а много камыша, от которого вид-

на была только одна окружающая обыкновенно камыш трава; от самого камыша торчат только обгорелые остатки стебельков: камыш ежегодно срезывается жителями и идет или на домашнее употребление, или на продажу; остатки же, для лучшего роста, сжигаются.

Много посевов клевера, который родится здесь превосходно и снимается до пяти раз в год, а три раза соберет и ленивый, как говорят.

Мы видели несколько вспорхнувших перепелок, и Б. рассказывал, что здесь их очень много и что сарты и киргизы ловят их и выкармливают для драк, причем, разумеется, держатся заклады. Немало гордится владелец перепела, когда говорят, что питомец его победил столько-то соперников. Туземцы страстно любят эту забаву и в состоянии целые дни проводить за нею. Хорошо выдрессированная птица стоит очень дорого. «Я знаю, – говорил Б., – некоторых хозяев перепелов, которые не возьмут и пятидесяти тиллей за штуку» (тилля – четыре рубля).

Горные куропатки ловятся и выкармливаются для той же цели.

Сеют здесь пшеницу, ячмень, просо, горох, лен; из семян льна жмут масло, волокно же варвары употребляют на подтопку. Есть сарачинское пшено, но мало, потому что оно требует большой и частой поливки; его много в долине Ангрена и далее к Тляу и к Ходженту. Сеют мак, который идет в пищу; из него делают род похлебки, а из скорлупы жмут

кукнар, хотя сильно хмельной и потому противный мусульманскому богу напиток, но неоговоренный Кораном и потому веселящий сердца правомерных туземцев без удручения их совести. Впрочем, жители не брезгают и виноградным вином, когда можно раздобыться им, и только более совестливые из них успокаивают себя тем, что разбавляют вино своею *бузою* или, вернее, в водку и вино, делаемое из винограда, подбавляют бузы: выходит и людям приятно, и Корану необидно. Один из провожавших меня казаков, бывший при взятии крепости Джузак, говорил мне, что они нашли там много вина и водки…

В одной большой деревне *Ходжакент* мы остановились. Мужчины большею частью были на работе, женщины же целыми семьями выскакивали посмотреть на *урусов*; некоторые боязливо выглядывали, спрятавшись за что-нибудь; другие, видя, что никого из своих мужчин нет, показывались смелее, улыбались, кивали головами и даже покрикивали: *аман* (аман – будь здоров)…

Лишь только мы поместились в отведенном нам домишке, как на новоселье собралось к нам множество народа, старого и малого. Стали допытывать, кто я, куда и с какою целью еду?

Объяснять туземцу возможность существования не прямо практической, а отвлеченной, научной или художественной цели – потерянное время: он не поймет этого, и потому, как я ни старался объяснить, что еду просто для того, чтоб познакомиться с краем, еще мало известным нам, русским,

познакомиться с жителями, с их житьем-бытьем и потом, в свою очередь, познакомить с этим других, живущих далеко отсюда – они не могли взять этого в толк и так, кажется, и остались в убеждении, что дело не совсем ладно, что еду я для каких-нибудь розысков.

Я расспрашивал, между прочим, об окрестностях и о дорогах отсюда к Ходженту и к Джузаку, причем вынул карту, по которой смотрел называемые ими деревни на пути. Карта эта возбудила всеобщее любопытство, а когда я по ней назвал окрестные селения и сказал, что могу по ней перечислить все деревни и города, реки, горы и степи, не только Туркестанской области, но и Коканда и Бухары, то удивлению не было границ.

Случилось, в разговоре о разных разностях, спросить, от каких болезней терпит здесь всего более народ – говорят, что особенно от горячек и лихорадок; лихорадки бывают особенно часты в пору поспевания плодов; против них не знают никаких средств; они, говорят, редко излечиваются совершенно и всегда, года через два или три, если не раньше, возвращаются и сказываются, хотя без прежней силы, без пароксизмов тряски, сильным изнеможением и утратою бодрости на долгое время.

– Есть вот еще один больной, – говорит хозяин дома, – не знаем, как его лечить.

– Где, который?

– Да вот мой сын, – и указывает на малого лет пятнадцати,

здорового на вид и краснощекого.

Расспросивши, я понял, что это довольно обыкновенная болезнь, против которой, кстати, между несколькими запасными в дорогу лекарствами было у меня отличное средство.

– Хорошо, – говорю, – я дам тебе лекарство, через два или три дня ты будешь здоров.

Меня поблагодарили за это обещание, хотя не без видимого недоверия, потому что болезнь была довольно упорная, продолжавшаяся уже около четырех месяцев, и туземному лекарству не поддавалась. Но вот на другой же день больному моему, которому я предписал все должные предосторожности и диету, делается лучше; на следующий день болезнь совсем исчезает. Молва об этом немедленно же обходит всю деревню, а затем и все селения; отовсюду начинают являться за советами и помощью. На мое несчастье, следующий пациент также если не совсем выздоровел, то почувствовал облегчение – это был мальчик из той же деревни, на которого жалко было смотреть; восемнадцать лет, очень миловидный, он года три уже как не рос более и как-то сгорбился, покривился всем туловищем, жаловался на стеснение в груди и сильное, давнее, периодически повторяющееся расстройство желудка.

Так далеко, чтоб понять эту болезнь и тем более помочь ей, мои сведения не простирались, и я откровенно сказал это отцу мальчика, предложив, впрочем, от расстройства желудка известные, весьма безвредные капли. Каково же было мое

удивление, когда через несколько дней приема их малый мой объявляет, что и расстройство желудка прекратилось, и стеснение в груди уменьшилось. Разумеется, результат был достигнут благодаря воображению пациента, а я в нем ни душой, ни телом не виноват; тем не менее репутация моя как человека опытного в лечении разных болезней упрочилась, и, к немалому моему огорчению, ежедневно стало стекаться множество больных. Говорю «к немалому огорчению», так как в самом деле положение неприятное: отказать в совете нельзя, во-первых, потому, что к русскому доктору не пойдут, отчасти по недоверию, отчасти же – и это главное – потому, что он не под рукою и лечение его сопровождается издержками; во-вторых, потому, что, по тем или другим резонам, обойдя науку в лице ее посильного представителя ближайшего русского поселения, туземец необходимо обратится к шарлатану, к своему доморощенному уста, редко совестливому, а большею частью только берущему деньги и подарки, пользы же не приносящему. Когда я советовал, например, больному обратиться к чиназскому доктору, говоря, что сам помочь не могу, он уходил всегда, почесывая затылок, с намерением подождать немножко: может, и так пройдет. Ужаснее всего то, что говоришь, бывало: не знаю, не понимаю болезни, не имею лекарства, не могу помочь – не верят. «Мы слышали, – говорят, – что *твое лекарство* многих вылечило».

Так или иначе приводилось давать посильные советы, со-

стоявшие, главным образом, в объяснении пользования водою, трения, закутывания в мокрые простыни и т. п., что для ревматических болезней, удручавших большую часть моих пациентов, было, разумеется, далеко не бесполезно.

Каждый день, бывало, ранним утром А. Н. уже зовет меня. «Да выйдите, пожалуйста. Страх сколько их пришло: все просят *усту* повидать». (Уста – мастер, доктор.) Некоторых приносили на носилках; другие приходили звать в свою деревню, к больным, которые не могут двигаться. Были и такие, которые просили заочно дать лекарство – это случалось большею частью, когда дело касалось женщин; говорит, объясняет, что болит то-то и то-то и просит какого-нибудь такого лекарства, чтоб принять и выздороветь сейчас.

В одной соседней деревне показывали мне раз мальчика лет двенадцати, тринадцати, которого никогда не забуду. Его вынесли ко мне на руках, обложенного ватою, закутанного в целую массу тряпья; лицо его, донельзя пухлое и обезображенное, было бледно, как чистейший белый воск; вместо глаз какие-то гнойные ранки; нос провалившийся; вместо рта щелка, более не закрывающаяся и не открывающаяся, сквозь которую видны мягкие крошащиеся зубы, страшная гнойная болезнь на голове и на теле. Мальчик, разумеется, не двигался, почти ничего не ел и едва-едва говорил. «Сколько уж наших докторов лечило его – не могли вылечить». – «Как же они его лечили?» – «Больше ртутью». – «И много ее давали ему?» – «Кто ж его знает, мы этого не знаем; кажет-

ся, *коп*» (коп – много). – «Зачем же вы позволяете глупым людям распоряжаться так вашими детьми?» – говорю я отцу ребенка. «Не знаю я, – отвечает он, – мы люди темные; кто что посоветует, то и делаем; сами видим, что нас обманывают, только чтоб сорвать *селяу* (селяу – подарок); да что же делать-то? Ведь жаль ребенка, ну и слушаешь, что скажут»… Бедный мальчик этот через несколько дней умер.

Очень многие из жителей, чуть не половина, изрыты оспою; у многих на лице и голове следы лишаев и других накожных болезней. Чтоб не дать лишаю распространяться, намазывают пораженную им часть сажею, и смешно видеть, как иной мальчик бегает с физиономиею наполовину белою, наполовину черною.

Уморительная старуха явилась раз ко мне из одного соседнего аула; хриплым голосом рассказала она, что черви съели у нее маленький язычок и теперь уж начали есть печенку, так, по крайней мере, объяснил ей *уста*, и что поэтому кричать и громко говорить она не может; при этом чувствует давление в груди и боль в горле. Я хотел посмотреть на этот бедный маленький язычок, но она завопила, взмолилась: «Не тронь, не тронь, бога ради!» – «Да отчего же? Я хочу только посмотреть, что у тебя там…» – «Нет, нет, лучше подожди; я приведу сына; ты уж при нем сделай что надо; тогда, если я умру, так при нем: он будет знать, что со мною делать»…

Деревня Ходжакент расположена близ Сыр-Дарьи, в сотне шагов от нее; дом, в котором я живу, стоит на берегу арыка

(арык – канава), широкого, с высокими берегами, ведущего воду с полей к мельницам и потом в Сыр-Дарью. Набережная этого арыка, осаженная кое-где деревьями, составляет лучшую во всем селении улицу; на ней помещается между прочим одна из двух имеющихся в деревне лавочек, около которой ежедневно, по вечерам после работы собирается народ: кто просто посидеть в компании, кто поболтать, перекинуться словечком, узнать новости, которые, если только имеются, непременно будут туда снесены, а кто поиграть в игру, сходную с нашею шашечною: прутиком расчерчиваются на земле фигуры, по которым ходят красненькими и серенькими камышками; я подсаживался иногда к игрокам и, разумеется, постоянно проигрывал, к большому удовольствий и смеху всей публики.

Деревня Ходжакент, близ Ташкента

В те дни, когда в Чиназе базар, собрание в лавочке бывает многолюднее и оживленнее; ездившие на базар сообщают собранные там новости и сплетни, а так как новостей и сплетен на всяком базаре больше, чем товару, то и материала для разговоров ходжакентцев, собравшихся у лавочки, бывало немало, притом разговоров самого разнообразного сорта, начиная от крупного местного политического события до мелкой дневной новости. Один раз аксакал, т. е. старшина (буквально аксакал значит белая борода, *ак* – белая, *сакал* – борода), пресерьезно сообщил мне, что продавали-де на ба-

заре рыжую кобылу, продавали не просто, а с барабанным боем. Так как народу на базаре при этой продаже, вероятно, было немало, то, без сомнения, о продаже рыжей кобылы с барабанным боем, о ее цене, летах, пороках, достоинствах и проч. узнали и толковали далеко по окрестностям…

Кроме городов, базары еще бывают в больших деревнях и один раз в назначенный день недели: по понедельникам, например, базар бывает в *этой* деревне, по вторникам – в *той*, по средам – в *третьей* и т. д., так что каждый день может крестьянин купить, что ему нужно, посплетничать, сколько душа его просит, не ездя для этого в далеко отстоящий город. В Ходжакенте базаров не было потому именно, что он недалеко от Чиназа.

Садов в Ходжакенте мало; улицы, кроме большой, о которой я упоминал, грязны, узки и во время дождей просто непроходимы; дома, за исключением немногих зажиточных, весьма жалкого вида; они, как и все, построены из земляных комьев и грязи. Недалеко от моего дома была мечеть – небольшое, простое снаружи и внутри зданьице, каждое утро и вечер наполнявшееся крестьянами, совершавшими положенный намаз. Я замечал, впрочем, что посещали мечеть далеко не все жители, а больше только люди пожилые, старики.

Управление деревни сосредоточивается в руках старшины и казы (каза – духовное лицо, род судьи); должности эти не выборные, а по назначению и в большинстве случаев даже наследственные – так, мой приятель Таш, аксакал Ходжа-

кента, наследовал должность от отца, который, в свою очередь, получил ее от своего родителя и т. д. При таком порядке управление, разумеется, чисто патриархальное в самом многозначительном смысле этого слова: аксакал и казы, на условии взаимного дележа, грабят народ, и, сколько мне ни случалось слышать, людей честных в том смысле, как мы это слово понимаем, нелицеприятно, без взяток и поборов судящих и управляющих, между ними нет. Новое положение, введенное русскими, делающее почти все должности избирательными, без сомнения, не по вкусу будет деревенским аристократам, зато байгуши (бедняки) вздохнут свободнее…

Работает здешний крестьянин всякую работу допотопнейшими приемами и орудиями. Вот, например, недалеко от меня на арыке меленка для очистки риса: два толстых куска дерева, окованные железом, с остриями, попеременно опускаясь и поднимаясь, бьют по зернам, насыпанным в углубления, сделанные в земле и прикрытые шалашом из камыша. Эти куски дерева приводятся в движение каким-то подобием колеса, с шумом и скрипом медленно повертывающимся и попеременно то поднимающим, то опускающим деревины, бьющие по зернам.

Три раза последовательно очищают и просеивают крупу, прежде чем она освободится от шелухи, и благодаря способу очистки из четырех батманов неочищенного риса получается только два очищенного. Это, впрочем, зависит и от сравнительно малого орошения здешних рисовых полей: в тех

местах, где орошение сильнее, зерно крупнее и в очистке получается его более. За целый день работы очищается совершенно едва два батмана зерна; но как и таких меленок немного в окрестностях, то крупу привозят для очистки в ходжакентскую мельницу довольно издалека и платят за это одну шестнадцатую часть…

Случалось мне видеть, как гнут обод колеса; хотя у здешних арб колеса и большие, а потому и деревянные обручи, для них служащие, довольно плотны, тем не менее жалко видеть, как десять человек, буквально в поте лица, целый день возятся около одного такого обруча.

* * *

Я поехал далее и приехал в места поселения киргизов таминского рода. По их словам, когда-то очень давно предки их пришли сюда войною с запада, по окончании которой часть воротилась назад, а другая, не имевшая средств, осталась здесь. Теперь почти все таминцы живут в пространстве между Ташкентом, Чиназом и Ходжентом, занимаются хлебопашеством, и большая часть живет оседло круглый год. Тип лица их не киргизский или, если несправедливо называют здесь обыкновенно оседлых таминцев сартами, то и за кровных киргизов принять их трудно…

По обыкновению, множество народа тотчас же явилось к нам в гости «пожелать здоровья», и по мере того, как раскла-

дывались мои вещи и развьючивалась моя собственная особа, любопытство моих собеседников усиливалось: непременно все им покажи, расскажи, в чем я, разумеется, не отказывал, и вот поднимаются выражения удивления на разные лады: один щелкает языком и совершает это очень долго, сначала быстро, потом все медленнее и медленнее, как бы замирая; другой вытаращит глаза и твердит протяжно: па! па! па! па! па!..; третий весь как-то раскачивается; четвертый, наконец, просто немеет от удивления и только по временам отряхивается, как от чертовщины.

Да как в самом деле и не удивляться! Еще складной ножик с несколькими клинками, складной зонтик, складной стул, положим, не так чудны; но вот, например, складной карманный револьвер *кичкине-милтык*, т. е. маленькое ружье – это такая удивительная вещь, которая дает бравому туземцу тему для рассуждений на все лады, на многие и многие часы досуга…

Ангрен протекает под самою деревнею, и переправить нас через него обещали на следующее утро на *сале*, плотике из камыша. Ангрен – небольшая речка, впадающая в Сыр-Дарью; эти горные речонки, ничтожные в сухое время до того, что, как говорится, курице впору перейти вброд, осенью от дождей и особенно весною от таяния снегов так разбушевываются, что переправы через них делаются если не невозможными, то крайне опасными. Именно через одну из таких речонок нам предстояло теперь переправиться.

«Сал у нас хороший; переправим живо», – говорят мне. Но на другое утро, когда я отправился посмотреть этот хваленый сал, он оказался преутлою штукою: несколько снопов камыша, плохо связанных – всё вместе два аршина. Я дал денег на камыш, все веревки от своего багажа и велел сделать что-нибудь понадежнее.

Через час посудина была готова, увеличилась и площадью, и толщиною.

Вода неслась с чрезвычайною быстротой; переправа предстояла небезопасная, и вся деревня высыпала смотреть на нее. Сначала пустили двух лошадей понадежнее, попробовать, как они терпят воду; два киргиза в одних только коротеньких штанишках сидели на них верхом. Когда лошади всплыли, их страшно понесло течением; но киргизы соскочили с них тогда и, держась одною рукою за гривы, другою за узду, ловко направляли наперерез воды; саженях в тридцати ниже они вышли на тот берег, потом, зайдя вверх, переправились обратно. Бедные лошади дрожали все еще, отфыркивались и пугливо смотрели на воду; но им не дали опомниться, привязали к хвостам нагруженный плот и снова пустили в воду. Два человека плыли при лошадях, пять или шесть кругом плота; шума не было – все напряженно следили за переправою; слышалось только сопенье и фырканье выбивавшихся из сил лошадей.

«Плакали чемоданы мои», – думал я, глядя вслед понесшемуся, как щепочка, салу – едва-едва не пронесло его мимо

единственного отлогого места того берега, к которому можно было пристать: если б это случилось, без сомнения, погибли бы и вещи, и лошади. Однако выбрались на берег, затащили плот повыше против течения, переправили на нашу сторону и на свежих лошадях перетащили и нас с остальным добром.

Бедные киргизы страшно передрогли и запросили ара́ку (водки); но так как его не оказалось, то мы напоили их чаем и сами отправились дальше к деревне Буке, до которой отсюда два таша, т. е. шестнадцать верст.

Кстати замечу, что употребление *таша* как меры расстояния вошло здесь в обыкновение со времени последнего завоевания Коканда Бухарою: таш – бухарская мера; прежде измеряли пути днями и часами езды, теперь начинает входить в употребление *чахрым* – русская верста.

Путь наш лежал пашнями и лугами; не было ни дороги, ни тропинки. На горизонте было видно много курганов; Б. стал называть мне их всех по именам: «Вот это Ак-Тубе (ак – белый, тубе – гора, сопка), вот тот Кок-Тубе (кок – синий, зеленый), а этот, самый высокий, Ханка…»

Ханка, о котором я еще прежде слышал, рисовался вдали громадным силуэтом, и я, не долго думая, направился к нему…

Долго ли, коротко ли ехали мы, но наехали на кочевку киргизов, в которой остановились ненадолго, отдохнули и подкрепились *гатыхом* (гатых – кислое молоко). Кочев-

ка принадлежала таминским же киргизам и смотрела очень бедно.

Я побродил по палаткам и в некоторых был так нескромен, что развернул и раскрыл все мешочки, узелки, тряпочки, лежавшие по углам и висевшие по стенкам кибитки: тут просо, немножко риса или конопли; там шерсть, лоскутки и разная хурда-мурда незатейливого, неприхотливого быта; стоит станок для пряжи хлопчатой бумаги, скатанной для этого в трубочки. Я нарочно сказал, что не знаю употребления этой машинки; хозяйка, пожилая киргизка, любезно села и допряла начатый моточек; я выразил удивление, улыбнулся – улыбнулись и киргизы, вероятно, моей простоте.

На прощание я отдарил бабусю за ее вкусный гатых платком ярко-красного цвета, предметом, может быть, давнишних желаний ее дочери, которая, мимоходом сказать, во все время моего пребывания в юрте сидела, забившись под одеяла и разную рухлядь, и только испуганным, неровным дыханием давала знать о своем существовании. Впрочем, фигура матери, становившейся в позу курицы, защищающей своего цыпленка, перед тем местом, куда запряталась дочь, каждый раз как я приближался к нему, давала понимать, что тут находится вещь, которую она с меньшей готовностью допустит открыть и посмотреть, чем мешочек с просом или коноплею.

Около высокого кургана Ханки, который мы видели издалека, рассыпано множество меньших насыпей, заросших травою, но без остатков каких-либо построек; только на од-

ном виднеется одинокая могила какого-то аулие (святой), небольшая ограда недавней постройки и над нею шест с лоскутком материи.

Можно полагать, что тут был город большой; высокий курган составляет северо-восточный угол насыпи, служившей, вероятно, местом расположения крепости; совершенно ровные, круто и глубоко опускающиеся края этой почти квадратной насыпи были, надобно думать, валы, на которых стояли стены. В другом месте мне казалось возможным распознать следы глубокого пруда. По курганам валялось много обломков крупной и мелкой глиняной посуды, отчасти, может быть, после недавно бывших здесь киргизских зимовок; показались также мелкие обломки костей, но не видно было никаких следов древних построек.

* * *

Бий (бий – почетное лицо) деревни Бука, у которого мы остановились за отсутствием старшины, сообщил кое-что о Ханке: «От наших стариков слыхали мы, что тут жил когда-то *падишах* (государь) здешних земель по имени *Ка-гахха* (вероятно, отсюда сокращенное Ханка), но когда именно он жил – неизвестно, может быть, две тысячи лет назад». – «А какой государь это был: мусульман *падишах* или кяфир *падишах* (т. е. мусульманский государь или государь неверных)?» – «Кяфир *падишах* урус (т. е. *падишах неверных, рус-*

ский)» (!). Я объяснил, что русские никогда прежде не владели этими местами и теперь пришли сюда в первый раз и что поэтому или предание неверно, или истолковано не так – он повторял настойчиво, что предание именно таково; в подтверждение вероятности этого сказал, что сами русские, когда они несколько лет назад занимали Той-Тюбе и окрестные места, объявляли будто бы, что «*пришли снова занять свои давнишние владения*». Откуда они взяли, что русские говорили подобную нелепость и когда-то в далеком прошлом владели здесь – знает Аллах.

Старик аксакал, когда приехал, подтвердил слова бия: рассказал, что здесь жил кяфир падишах и *именно урус*. Когда я опять возразил, что русского владетеля здесь не могло быть, он отвечал, что, может быть, это неправда, но что предание именно таково. «Лет пятьдесят назад, – говорил он (старику теперь под семьдесят), – я пас на тех местах скотину и случаем от многих доводилось слышать это. Город был большой, с семью рядами стен (?). Лет тридцать назад там были еще кое-какие развалины глиняных стен, не из хорошего кирпича, а просто из комьев – должно быть, остатки могил и зимовок; следов же построек из хорошего-то кирпича никто не помнит. На моей памяти тут бывали скачки и разные игры. На высоком кургане помещались почетные лица – оттуда они могли удобно следить за ходом игр и отличать победителей».

Старик говорил еще, что за Ара-Тюбе, в горах, есть ме-

сто, которое также называется Ка-га-ха, и там, по преданию, были большие постройки и там будто бы владели когда-то *урусы* (!).

Деревня Бука окружена рисовыми полями, в это время года затопленными водою; там и сям бродит народ чуть не по пояс, разбивая заступом большие комья земли. Чтоб на покатых и неровных местах вода могла ровно напоить каждый уголок, все пространство, засеянное рисом, разделено на небольшие, сажен в пять или немного более, квадратики; каждый такой квадратик обнесен узким, в две или в три четверти вышины, валиком с воротцами в одном углу, такими маленькими, что кома земли достаточно, чтоб завалить их, когда понадобится запереть напущенную туда воду. Вода берется из больших арыков, проведенных от Ангрена. В арыках этих немало рыбы: довольно крупных окуней, язей и др.

Раз позвали меня посмотреть, как ловят рыбу. Кроме нескольких взрослых крестьян пошла волонтерами огромная толпа ребятишек. Орудием для ловли была простая сетка на палке.

Старшие рыболовы разделись и в одних кратчайших штанишках спустились в арык: один стал держать сетку, другие, зайдя немного выше, загонять в нее рыбу – нечто вроде нашей ловли *в верши*, с той только разницею, что здесь операция похитрее: ставят сетку и начинают загонять в нее рыбу только тогда, когда увидят ее. «Эй, сюда, сюда! – кричит увидевший какого-нибудь злополучного окуня. – Здесь, вот он

стоит в траве; вот, вот сейчас сюда ускочил!..»

При этом увидевший и вся ватага бросаются за ускочившею рыбою и, двигаясь по направлению к сетке, шарят руками и ногами по всем ямам и зажорам. Другая рыба, ушедши от всего этого шума и гама, преспокойно прошла бы между сеткою и берегом, потому что там всегда остается доброе пространство, но здешняя, которая или очень глупа, или чересчур уж добродушна, часто попадается в расставленную ей сеть.

В одном месте, двигаясь по арыку, набрели мы на запруду, поднявшую воду в верхних частях и спустившую в низших, проходивших нашею деревнею: хозяева прилегающих к этим местам рисовых полей устроили эту маленькую шалость в невинном желании сытнее напоить свои поля в ущерб своим соседям, букинцам. «Так вот отчего у нас так мало воды! Разваливай, ребята, запруду!» Большой и малый на «ура» бросились вынимать колья, вытаскивать укрепленные между ними комья глины и дерна, и высоко скопившаяся вода с шумом двинулась вниз.

В один хороший, ясный день в Буке был базар, на который с утра отправилось все население дома моего хозяина. Я пошел один, не закупать что-либо, а так побродить, посмотреть.

Я говорил уже, что каждый день недели бывает базар в которой-нибудь из окрестных деревень: в *Буке*, например, базар по понедельникам, в *Ак-Кургане* – по пятницам, в *Псхен-*

me – по средам и т. д.

На базарной площади около лавчонок, в которых обыкновенно не видно было ни души, теперь толпилось множество народа и конного, и пешего, съехавшегося со всех окрестностей не столько, разумеется, для закупок, сколько для свидания с родными, знакомыми, для собирания новостей и сплетен; иной из-за двадцати верст торопится, спешит, боится опоздать – для чего? Чтоб поглазеть на толпу, целый день проболтаться между гуторящим народом, сунуть нос во все сделки, продажи, мены, во все споры, ссоры, если такие случатся, подставить свой рот под угощение, если оно предложится, и с запасом сведений и спокойною совестью возвратиться восвояси.

Вот, вытянувшись в несколько шеренг, сидят работающие веретенья, кто под шалашиком из циновок, кто просто на солнце. Они работают безустанно на своих простеньких станочках и едва успевают удовлетворять спросу туземных дам, около них толкущихся.

Евреи торгуют немного чаем и вообще всем, чем случится, но преимущественно сырым шелком; они и торговцы красным товаром, развесившие свои яркие богатства по обеим сторонам целой линии лавок, занимают самую фешенебельную часть базара.

Тут же без лавок, просто на земле, разложены *бязи* (бумажная материя), разные крашеные ткани, множество халатов и многие принадлежности костюма. Тут же лавочки с зеркальцами, ножичками, кожаными кошельками и разными разностями, разными мелочами. Невдалеке лавочки, в которых стряпают и пекут превкусные пирожки *самуса* и варят в пару пельмени.

Мясники, торговцы конопляным маслом и вышивками и другими, менее деликатными предметами держатся больше по краям базара; с краев же идет продажа лошадей, баранов, коров, верблюдов и т. д.; здесь почти все, и покупатели и продавцы, и мужчины и женщины, верхами.

Бродя там и сям, я понакупил кое-каких мелочей, но больше приценивался, присматривался и к товарам, и к физиономиям самих продающих; с другой стороны, и меня, в моем европейском пальто, осматривали с немалым вниманием и изумлением и закидывали вопросами: «Кто ты? Ногай (татарин)? Откуда ты? Ты купец?» – «Купец», – отвечаю. «Чем торгуешь?» – «Всем понемногу». – «Значит, разным товаром?» – «Да, разным товаром». – «Где твоя лавка? В Ташкенте есть у тебя лавка?» – «Есть». – «А в Чиназе есть?» – «В Чиназе нет». – «А зачем ты эту чалму купил? Веретенья эти тебе зачем?»…

С базара я зашел в календархан, грязную избушку, стоя-

щую в прелестнейшем месте, в чаще деревьев на берегу широкого арыка. Народа застал там немного и то не постоянных обитателей, а посторонних, захожих bonvivats; часть их курила крепкий *наша*, другая спала врастяжку, должно быть, после лишнего приема кукнара. Постоянные обитатели календархана, диваны, отсутствовали; все они на базаре, где их остроконечные шапки и отборные лохмотья всюду виднеются между народом.

Один, я видел, таскает в чем-то вроде старого шлема с продетыми в края веревочками тлеющую пахучую траву; он с серьезным видом, заботливо, как бы делая важное дело, обходит всех по очереди, всем подставляет это благовоние, и потому ли, что трава эта хорошо пахнет, или потому, что она из какого-нибудь священного места – никто не отказывается опустить в дым свои руки, а потом провести ими по лицу и по бороде; но обычную чеху за это подает не всякий.

Перед каким-то тучным человеком, рассчитывавшимся мелкими деньгами и не обращавшим на него внимания, диван мой остановился и немилосердно обкуривал его в ожидании подачи. Я хотел посмотреть, кто из них, отказывающий или просящий, лучше выдержит характер, но так и не дождался; когда я отошел, простоявши на месте добрый десяток минут, первый все еще возился с деньгами и делал вид, что не замечает нищего; второй продолжал наделять его благоуханиями, в чаянии – бог не без милости – одной чехи…

Из новостей, ходивших на базаре, была одна крупная:

именно рассказывали, что эмир бухарский в Самарканде и готовится воевать с Россиею. Я посмеялся тогда вздору, каким показалось мне это известие, но оно оказалось вскоре если не совсем справедливым, то близким к тому.